



Олег ГЛУШКИН

ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ

Олег Борисович Глушкин родился в 1937 году в Великих Луках. Окончил кораблестроительный институт, работал на верфях и в море на траулерах. Член Союза российских писателей, член российского ПЕН-клуба. Входит в состав Совета по культуре правительства Калининградской области. Автор нескольких книг прозы. Составитель русского варианта антологии «Лики родной земли», выпущенно-го совместно с писателями Германии, Польши и Литвы. За эту книгу получил звание лауреата Артиады народов России. Составитель книги «Кровоточащая память Холокоста», а также «Антологии калининградского рассказа». Печатался в журналах и альманахах в России и за рубежом (в переводах). Живёт в Калининграде.

Тишина до звона в ушах. Один в доме, не считая Сусанны. И ещё есть главный хозяин — большой чёрный кот. Сусанну я накормил гречкой. Маленькая, как мышонок. И суетливая. Спит в своём номере, видит детские сны. Она пишет для детей. Такие сны ей необходимы. Вся наша проза — это подсмотренный сон. Директор писательского дома сказала, что писатели всегда интересуются, кто до них занимал апартаменты. Боятся чужих снов. Боятся плагиата, который непрошено может втиснуться в их творения. Мне ничего не страшно. Завтра приедет сюда много писателей из разных стран. Будут писать наперегонки. Будут завидовать друг другу. Возможно, и меня вовлекут в этот общий психоз. Но я не поддамся. Я решил больше не писать. К чему все наши выдумки или, того хуже, копирование реальности? Разве недостаточно фотографий? Их сейчас только ленивый не делает. Автоматическая наводка, фото на

экранах компьютеров. А выдумка? Да за неё надо преследовать по закону. Это ведь ложные показания. Собрать всех выдумщиков и отправить в ссылку. В Одессу. Как Александра Сергеевича. Там их так засмеют, что станут на Магадан проситься.

Решил я: ни строчки более. И сразу день мой освободится. С утра буду прогулки длинные устраивать, воздухом свежим дышать. Куплю абонемент в бассейн, буду по часу в день плавать. Пойду на курсы английского языка. Стыдно в наш век не знать английского. Выучу язык — стану путешествовать. Первым делом махну в Италию, потом в Лондон, захочу — и за океан переберусь. Там друзей у меня много. Одноклассников. А надоест суша — устрою морские прогулки. Сидеть в шезлонге и смотреть, как журчит, исчезает струя от винта за кормой. Кормить чаек — это ли не счастье! Возможно, и любовниц заведу, двух или трёх, насколько меня хватит. Раньше я этих разных девиц только в тексте своём имел, пора и оживить моих страстных героинь. Куплю себе крутой мотоцикл. Стану байкером. С визгом понесусь по автобану. Только ветер свистеть будет. По дороге подцеплю симпатичную шлюшку. Посажу сзади. Пусть обнимает меня, пусть визжит от страха и теснее ко мне жмётся. Впрочем, байк не очень солидно для меня. Увидят мои читатели — обхохочутся. Известный писатель — и на байке. Нет, уж лучше куплю фордик небольшой.

Но быстрый и юркий. С откидывающимся верхом. И с сидениями откидывающимися, чтобы можно было любовью в нём заниматься. Господи, сколько наслаждений ты послал человекам, а я, как дурак, получал удовольствие от сочинительства, от этого эрзаца жизни, от безвкусного заменителя страсти.

Так что решено. Надо пожить в своё удовольствие. Хватит сидеть в доме творчества и изображать из себя писателя. Блокирую в компьютере всякий набор текста. Оставляю только рекламы туристических фирм и сайты знакомств. Знаю, что есть секс-туры, что можно найти девушку, жаждущую разделить с тобой радость познания мира. Такой вот прогресс. Пока я свои завиральные тексты о любви писал, мучил своих Ромео, всё на самом деле так упростилось, что, наверное, читатели мои посмеивались над страданиями новоявленных Вертеров. Чего там страдать, зачем, клик — нажим на клавишу — и вот она перед тобой, твоя Джульетта, готовая на все выдуманные тобой любовные игры. Пошарил в интернете, заказал себе эскорт на Гаити; девица уж больно мне приглянулась, есть у меня заначка от одной литературной премии, хватит не на один тур.

Отправил жене электронную почту, конечно, обо всех своих планах не написал, но сообщил главное: я бросил писать. Ждал, что она меня отговаривать начнёт. Всегда она мои тексты хвалила и повсюду заявляла, что лучше

меня никто в нашем городе не пишет, не писал и писать не будет. Ответ от неё был неожиданным. «Наконец-то, — написала она с восклицательным знаком, — наконец-то мы станем жить, как все люди».

Как все люди, в её понимании, — это огородом своим заниматься. Летом она в огороде дневала и ночевала. Я сам бы туда и дорогу бы не нашёл. Приходилось всего один раз в году туда ездить, чтобы помочь урожаем увезти. Мешки с яблоками и картофелем таскать к автобусной остановке. Постоянно ездить туда я отказывался. То один текст надо дописать, то другой поправить. И казалось мне, она меня понимает. Творчество прежде всего. А на поверку выходит, она это творчество просто терпела. Нет, раньше, когда гонорары платили, искренне поощряла, а вот последние годы, когда гонораров и след простыл, очевидно, притворялась. Вот живёшь с человеком много лет под одной крышей, а что у него на душе, никогда не узнаешь.

Был здесь в доме писательском ещё один писатель из нашего города, вернее, поэт, никогда поэт прозаика не поймёт. Сочинил он с утра стих — и весь день свободен. Для него такой вопрос: писать или не писать — не стоит. Он здесь ни строчки не сотворил. Играл в казино, да так проигрался, что пришлось домой автостопом возвращаться. Говорит, игра ему нужна, чтобы адреналин в крови заиграл, что без драйва он и строчки порядочной

не может сочинить. Позвонил он мне вечером, просил за него долг карточный отдать одному латвийскому историку. Денег у меня не густо, но куда деться, пообещал этот долг вернуть. И ему я эту весть сообщил, что писать бросил. «Ну, вот и правильно решил, — сказал он. — Кто сейчас в наше бурное время толстые книги читает, зачем их писать, только бисер метать перед свиньями. Стихи — другое дело, к стихам ещё интерес остался, их покупают. Видел на полках: в книжных магазинах почти нет поэзии». Не стал я с ним спорить. Пусть так думает. Действительно, нет на полках поэзии, потому что давно уже не берут магазины в продажу стихи. И ещё сказал он мне: «Ты только больше никому не говори, что писать бросил. Оставайся известным писателем, получай гранты и премии, чем плохо». Прав он, ведь сколько моих коллег уже давно ничего не пишут, а в литфондах пасутся и везде убедительно рассказывают, какие они известные, и как их во всём мире читают, и какие им международные премии выдают. Лапшу на уши вешают. Да кому охота с этой лапшой разбираться. Верно подсказал мой поэт: никогда не надо дверью хлопать и стулья ломать. Уходить надо по-английски. Пусть все думают, что я большой роман пишу, только пусть на всякие выступления не зовут. Некогда мне. Я, к примеру, в Таиланд выехал и там пишу, необязательно рассказывать, что поехал я тайский секс познавать.

И после принятого решения так легко на душе у меня стало, ну словно ангел поцеловал меня, так просторно всё вокруг, так чудесно в мыслях и природе. Вечером затопил я камин в писательском доме, уселся напротив, на огонь смотрю мечтательно. Сотрудницы молча мимо ходят, думают: вот вдохновение пришло к русскому писателю, не будем ему мешать. А я дождался, когда они по домам разбредутся, достал припасённую бутылку водки, сделал бутерброды с красной рыбой. И когда пробило двенадцать на больших настенных часах, торжественно сжёг свой писательский билет. Подложил берёзовых чурок в камин, огонь запылал сильнее, и сунул я в этот крематорий красную книжицу. Господи, сколько я претерпел, пока её получил, сколько меня мурыжили, какую радость испытал, когда впервые её в руки взял. А теперь вот без всякого сожаления устроил писательское аутодафе. Поначалу не хотела гореть, слишком твёрдый картон, всё обугливалась по краям, а потом как вспыхнула, как завертелась, завилась в трубочку и затрещала. Чёрный кот у ног моих трётся, понятно, что одобряет меня. Налил я себе рюмку, выпил залпом, и так потеплело внутри, да и снаружи тепло. А за окном дождь начался. Ничего не знаю слаще, чем слушать перестуки дождя в тёплой комнате у каминна. А теперь вдвойне мне приятнее. Раньше я в такое время, под

дождь, сочинять бросался, ночь мог стучать по клавишам. А теперь вот свободен. И задремал я в уютном кресле, согретый внезапно свалившимся на меня счастьем.

А во сне явился ко мне великий пролетарский писатель Максим Горький. Высокий, сутулый, с клюкой, усы обвисшие, и сразу видно, не в настроении. Кашлем заходится, бедолага. Мне от него в жизни, видно, никогда не отвязаться. Живу я на улице Горького, с женой своей познакомился в Москве на улице Горького, первую литературную премию получил Горьковскую, там к ней прилагался бюст его. Этот бюст я в своё время об стенку расколотил, так он мне надоел: стоял на письменном столе и с укором смотрел на меня. И вот теперь ещё и в сон ко мне явился, совсем он меня достал. Стинь, говорю, нечистая писательская сила, и крестом его осенил. Но не помогло. Он, атеист большевистский, с высоты своего роста посмотрел на меня с прищуром, и слёзы на его глазах появились. «Вот, — сказал, — знаю я, любил ты наш писательский труд, и матушка твоя не зря с малолетства мой роман тебе читала». Удивился я, откуда он это знает, ведь действительно был у нас в доме роман «Жизнь Климса Самгина», не для детского ума чтение, но других книг не было, и вот, когда болел я, а болел я часто, просил мамашу почитать мне. Она была женщина строгих правил и, доходя до отдельных мест, норовила их пропустить, но

я роман знал и тотчас ей замечал, что не сходятся события, что надо всё подряд читать. Она краской заливалась и вынуждена была пропуски читать. Вот такой я был маленький негодяй. И те чтения губительными стали. Во мне ведь именно Горький посеял вирус писательства. И его роман, и его слава...

— Это ты, старик, во всём виноват! — закричал я, сам удивляясь своей смелости. — Куда ни кинешься, везде ты! И пароходы с твоим именем, и города, и библиотеки, и школы, и институты, и улицы. Сам-то небось жил в своё удовольствие, а нас на каторгу обрек! Соцреализм нам в ноги кинул!

— Ну ты и злопамятный! И обидчивый, словно кот! Кто тебя, дурака, заставлял целыми днями писать? Вся писанина — она от лукавого!

Я рассмеялся, понимаю, что это сон, но какой нелепый сон! Чтобы основатель соцреализма и такие глупости провозглашал!

А он продолжает: да я себе ни в чём не отказывал. Дом всегда гостями полон был и в Москве, и на Капри, и женщины вокруг вертелись, сейчас таких красавиц не встретишь. Две Марии сразу — одна другой краше, одна в театрах блистала, от самого Саввы Морозова её отбил, другая, Мура, птица была высокого полёта, даже Уэллса бестия соблазнила. Никто перед ней устоять не мог. Но краше всех Тимоша, жена моего сына. И со всеми я не раз в раю бывал. Такие ночи были — как вспомню, так вздрогну! Писательские ночи,

сиденье за столом без сна — это для тех писателей, кто жизни не ценит. Вот и ты из таких! Так что иди-ка ты, добрый человек, в люди, а когда семя своё вконец израсходуешь, включай свой компьютер...

Нет, конечно, это не Горький, понимаю я во сне, откуда он мог о компьютерах узнать, да и потом тот, настоящий Горький, который был пролетарским писателем, конечно, творчество превыше всего ставил; когда писал, никто к нему в кабинет зайти не мог, а когда однажды жена без стука дверь отворила, он в неё стулом запустил.

И чёрный кот из нашего писательского дома тоже в сон влез и говорит:

— Саданул стулом, я сам видел!

Заставил я себя сон этот дурацкий прервать. Открыл глаза. В камине угли ещё красные. И на стене фотография Горького в полный рост — и как я раньше не заметил. Ну, точно он такой, каким я его во сне видел. Обиженный на всех и на всё. Ненасытный снохач! Ему ли меня учить, сам он на славу купился, убийце подыгрывал, знал, что творится вокруг, и молчал. Одна эта поездка на Беломорканал чего стоит, когда целую бригаду писателей он возглавил, готовую восхвалять палачей и обречённых на мучения узников. Он что же — хочет, чтобы я сейчас отправился по белу свету, развлекался и жизнь вкушал по полной программе, а потом опять за писательский стол сел? Не бывать этому!

Я ведь не сразу решил, что пора писать бросать, я ведь всё основательно взвесил. Если уж брошу — так брошу! Трудно такое даётся, но свобода дороже всего.

Это как с курением, я много лет курил и всё время хотел бросить, и никак не получалось, хотя и клятвы я давал, и пари заключал. Ничего не помогало. Бросал я много раз. В первый раз, когда в армии срочную службу проходил, там деды у нас сигареты отбирали, противно всё это даже вспоминать, сколько унижений претерпел. А однажды попал на дальний пост, где давно уже сигареты кончились, и отдал я свой блок сигарет для общего пользования. И три месяца не курил. А тут посылка от мамыши, и в ней сигареты. Куда денешься. Никто уже у меня тогда не отбирал, сам дедом стал, дни до дембеля считал. Потом подобный же случай приключился в море. Тогда, в советское ещё время, посылали писателей в командировки на рыбацкие суда. Время было нескучное, встречали везде так, что и не приснится. Разные чудеса из рыб приготовляли, были мастера, ну и выпивки полно. А меня послали на малый траулер. А там люди без курева почти два месяца, озверевшие, какая им тут литература. Не знал я об этом, вынул из пачки сигарету, вся команда ко мне сбегалась, говорят, хоть дымом подышим. Всё курево, что со мной было, отдал я им. Зато как они меня слушали, как кричали «Браво!», словно артисту знаменитому. И решил я: больше не закурю.

Назад возвращались с промысла рыбацкого, навстречу нашей плавбазе идёт транспортник, а на нём другой наш писатель, нам на смену, кричит с высокого борта своего: «Тут тебе посылку жена прислала, перебирайся к нам». Транспорт как раз к нам пришвартовался, чтобы топливо у нас взять. Я на сетку и вверх, спрыгнул в объятия коллеги. Пошли к нему в каюту, открыли посылку, а там бутылка «Столичной» и блок сигарет. Выпили за встречу, ну как тут не закурить. И позже много раз пытался я бросить, но всё же опасался, что без дымка сигареты сочинять будет трудно. Уговаривал себя — есть же некурящие писатели, и пишут здорово. Сигарета не помогает, она мозг затуманивает. И долго я себя уговаривал. И сам же эти уговоры отвергал. Вот, убеждал я себя, здоровье подорвёшь своё. И отвечал себе: а что я — дольше других жить хочу? Что это я о себе должен так заботиться, сколько природой заложено в генах, столько и проживу. Или вот ещё довод: слишком дороги сигареты. И ответ: что же я буду на куреве экономить, что же я — и на сигареты не могу заработать? И вот всё-таки решился, бросил окончательно. Прозрение на меня нашло. Вроде теперешнего. Понял я, что курение способно унижить человека. Началось время, когда повсюду стали запрещать курить. И в разных учреждениях приходилось в туалетах таиться. На конференциях во двор выбегать. Так и в ресторанах и кафе

стало. И вот был я зван на день рождения к одному славному адмиралу нашему, который тоже в писателях числился. Снял он зал в престижном ресторане, а там курить нельзя. А выпить и не закурить — весь кайф пропадает. И вот мы стали один за другим на улицу выбегать, а то и вовсе всей компанией у входа в ресторан дымили. Солидные все люди, а как школьники. А тут ещё и дождь заморосил. И в тот раз я твёрдо решил: хватит. Так что тяжело приходит решение, но если приходит оно осознанно, если оно способно жизнь изменить — я не отступлюсь. Если уж курить бросил, то писать брошу — это точно. От вредных привычек надо решительно избавляться...

Я уверен, со временем многие мои коллеги моему примеру последуют. Надоест им эта бодяга. Ведь в наше время написать текст мало, надо искать спонсора или знакомого издателя, надо везде проплачивать, а коли добился издания книги, то гонорара вряд ли добьёшься, или дадут такой мизер, что и говорить о нём не приходится, чаще книгами расплачиваются. Считаешь, говорят, что твой роман гениален, — вот и попробуй его продай. А как продать? Сдавать в магазин — гиблое дело, там такую наценку сделают, что не по карману читателям, торговцы деньги любят из воздуха делать. Ты трудился, писал, не разгибаясь, несколько лет кряду, издатель на риск шёл, деньги выискивал, в типографии верстальщики, переплётчики и

прочие мастера за мизерную зарплату своё дело сотворяли. А тут продавец только за то, что книгу с прилавка достанет и в руки покупателю даст, столько же, сколько все трудяги, вместе взятые, поимеет. Приходится суетиться и другие способы продажи книги выискивать. Всё время книги в суме таскаешь. Так что от писательства не только геморрой наживаешь, но и грыжу. Лучше всего на встречах с читателями продавать. Видят они живого писателя, хотя автограф его поиметь, пожалуйста — берите и без всякой наценки. Но часты ли эти встречи? Это раньше писатели считались оракулами, в обществе, где все рты на замке, лишь писатель иногда между строк, в подтексте правду вставлял, и все эту правду выискивали и понимали. А сейчас кому нужна эта правда?! Телеведущие всё расскажут. Они теперь у нас оракулы. Правда, есть ещё писатели, которые и по телевизору мелькают, и считаются очень продвинутыми. Но сколько это сил отнимает, чтобы продвинутым стать.

Есть у меня один друг, фамилию его называть не стану, знаю по давнему опыту, стоит кого-нибудь в свой текст вставить — и пошли обиды, и прощай, дружба. Поэтому я несколько всё изменю, и это будет не он, а скорее, такой собирательный образ, типичный деятель пера. Роста он небольшого, зато борода у него окладистая, с бородой писатель всегда солидней кажется. Вот соберёт он школьников да библиотекарей и

этак торжественно, оглаживая бо-
роду, о себе вещает. И сколько у
него книг, и как эти книги раску-
пают, и какие гонорары он рань-
ше получал, а главное, расскажет
о встречах с известными деятеля-
ми. И о том, как эти известные
его ценили, как дружбой с ним
гордились. И с Солженицыным
он был на дружеской ноге, и Ро-
стропович для него играл, и Ах-
мадулина ему свои стихи читала.
И называет он этих великих за-
просто: Слава да Белка. Только
Солженицына Сашкой назвать
не решается, понимает: перебор
будет. Рассказывает по много раз
обо всех этих встречах и каждый
раз новый штрих добавляет. Как-
то выпивали в одной писатель-
ской компании, так он поведал,
как Шаламов у него в доме пол-
года жил. Посмеялись мы тогда.
Нигде и никогда не упоминается
о том, что великий мученик к нам
в город заезжал. Некому было
его поддержать, умер в нищете,
в доме для престарелых. Поддав-
ливали моего друга-писателя и на
других завиральных фактах. А с
него как с гуся вода. Я его как-
то пристыдил, да ещё при других.
Он обиделся. Сказал: с тобой,
как с женой, в компании ходить
не стоит, всё ты про меня знаешь!

Другой мой товарищ, уже в
годах вроде и солидный такой,
а чтобы как-то себя возвеличить,
очень наград и премий возжелал.
Просто помешался на бронзулет-
ках. Их сейчас много выдают,
всяких наград. Раньше были пра-
вительственные награды, не более
десятька их было. А теперь любая

область, любое предприятие свои
награды штампует. А всякие па-
мятные медали — их просто не
счесть, к любому юбилею. Надо
только вовремя подсуетиться — и
вот уже вешай на пиджак оче-
редную награду. Впрочем, никто
почти их не нацепляет. А этот
мой писатель, когда идёт в ад-
министрацию деньги на издание
просить или на встречу с чита-
телями, надевает парадный свой
китель (он когда-то на флоте
служил), и этот китель весь в на-
градах. Я как-то раз этот китель
в руки взял, так с трудом удер-
жал. А тут человек на себе этот
китель таскает. Но надо же как-то
выделиться. Вот она, доля писа-
тельская. Вот она, борьба за при-
знание. На этом ведь тоже нажи-
ваются. Помню, приезжал к нам
один предприимчивый писатель
из Москвы; какой он писатель,
не знаю, но делец ловкий. Привёз
чемодан орденов на любой вкус.
И свидетельство всем показывает,
что имеет право писателей награ-
ждать, дано оно не кем-нибудь, а
президентом гуманитарного меж-
дународного фонда. На меня он
насел — хочешь орден Гёте, по-
следний остался, за шесть кусков
уступлю, это же почти даром! Еле
я от него отвязался, объяснил, что
недостойн, и при чём здесь Гёте,
я же на русском языке пишу. Ну
и ладно, согласился он, у меня и
в Москве такой орден с руками
оторвут.

Хотя меня эти страсти не очень
заботили, а ведь если начистоту,
тоже хотелось признания. Хотелось,
чтобы не в пустоту писал,

ведь главная беда — не читают книги, а если и возьмут книгу, то в первую очередь писателя признанного. Но ведь сколько сил на эту кутерьму надо затрачивать, как себя унижать. Теперь я от всего этого избавлен: если я писать перестану, то и забот нет никаких. Надо только для верности с кем-нибудь пари заключить, так договориться, что если я писать начну — с меня тысяча баксов, а если выдержу — то он выкладывает. Вот такой спор затеять можно. Вернусь домой и сразу заключу это пари, хотя бы с тем нашим бородачом.

И выпил я ещё две рюмки водки, на потухающие угли в камине долго смотрел, искорки там маленькие вздрагивали и гасли. И так захотелось мне для полного счастья закурить, просто нестерпимо. Хорошо, что ночь ещё была, магазины не работали, да и дом писательский пуст. И не станешь же будить Сусанну. Я знаю, она покуривает. Постучишь, а она подумает, я к ней приставать буду. Нет уж, с писательницами романы затевать — последнее дело, вместо секса выслушивать их разглагольствования — это не для меня. Пошёл я к себе в комнату, лёг на кровать, не раздеваясь, и заснул сном праведника.

А утром в полудрёме мне разные сюжеты стали блазниться, это как обычно у меня: всё сочинительство в такой полудрёме происходит, надо только не заснуть — и сразу за стол, и записать хотя бы кратко. А тут сюжет — пальчики оближешь. О том,

как некто, назовём его К., приехал в свой родной город и случайно узнал, что здесь живёт его взрослая дочь, случай, впрочем, довольно-таки типичный, сколько у нас детей без отцов растёт. И он влюбился в эту дочь, тоже ничего нового, кого сейчас инцестом удивишь. Но оказалось, что она работает в туристическом бюро, в котором подыскивают партнёров для совместных секс-туров, и вот на пароме, везущем туристов в Таиланд, они открывают друг другу душу. У меня иногда так получается: придумваю сюжет и героев, а они потом в реальной жизни ожидают, возможно, со мной тоже нечто такое произойдёт. А ведь когда о себе пишешь, всё здорово получается. Но ждать никогда не стоит. Нельзя давать первому запалу исчезнуть. И вскочил я, и бросился к компьютеру, а страницу новую открыть не могу. И тут до меня доходит: это ведь я сам его заблокировал. Ведь я же твёрдо решил не писать. И вот в первое же утро забыл свой запрет. Вот ведь какая навязчивая болезнь эта писанина. Хорошо, что догадался компьютер заблокировать.

Впрочем, зачем мне компьютер? Ведь лучшие свои рассказы я написал от руки. Вот и этот напишу, а вдруг это будет самый гениальный мой рассказ. Вот напишу этот рассказ и брошу писать. Это как с курением получается — бросить легко, и, как говорил американский писатель, я сам много раз бросал. Так что готов пари с любым заключить — обязательно брошу.

Жара и холод

Дети моих друзей заселяют жаркие земли. Им никогда не увидеть первозданность снега. Загораживающая белизна не для их глаз. Жёлтые барханы — застывшие волны пустыни — заменят ли чарующую прохладу января? Яркие крылья тропических бабочек, Бахайские сады и сочные плоды манго — всё это, конечно, прекрасно. Но я не променяю эти красоты на первый пушистый снег. В голодную военную зиму я слизывал снег с руки, он казался мне сладким. Снежные бабы во дворе заменяли чудеса Диснейленда. Лабиринты, прорытые в снегу, были интереснее компьютерных игр. В них мы прятались, играя в партизан. Мы «убивали» фашистов. Матери вздыхали: растёт безотцовщина. Мы хотели испытать себя, чтобы не струсить потом, в настоящей войне. Самодельные лыжи были самой заветной мечтой. В школе я мчался по лыжне, легко скользил по снегу и потом, в институте на соревнованиях, из последних сил пытался доказать своё первенство. Понять, как живут в странах, где нет снега, почти невозможно. Реки и моря там никогда не замерзают. Есть искусственный лёд, но никогда он не заменит сотворённого природой. Ледоход и ледостав — эти слова из моего далёкого детства не поймут в жарких странах. Их обитатели не видели, как в ледоход искрящиеся на солнце льдины пытаются сковать пространство

воды или напалзают на быки мостов. Прыжки со льдины на льдину сродни русской рулетке. Можно и не рисковать, а добровольно окунуться в холодную купель и потом растереть себя мохнатым полотенцем. Испытание на выживание. Удивишь ли нас чем-то, если в зимние дни мы с удовольствием едим мороженое, а в крепенские морозы окунаемся в проруби. Всю жизнь мы испытываем себя на прочность. Что хотим мы доказать сами себе? Понятия не имею.

Все мои испытания, казалось мне, позади. Они оживают только в воспоминаниях. Сегодня мне надо затратить невероятные усилия, чтобы добраться до берега моря, — ноги отказываются слушаться. И вот я стою у кромки прибоя — одинокий странник, почти выживший из ума старик, и вспоминаю о том, как свободно допрыгивал до баскетбольного кольца, как выигрывал на стометровке и прыгал с трамплина на самодельных лыжах. Мысленно повторяю прыжок. Дух замирает. Преодолев свой страх, ты взлетаешь навстречу облакам, ты вытягиваешься, словно парящая птица, и за мгновения наслаждения полётом расплачиваешься падением в сугроб. Это совсем не страшно. За всё надо расплачиваться. Наградою, годами позже, с тобой остаются воспоминания. Ты летал — и не разбился, ты тонул — и не захлебнулся. Ты прыгал с борта корабля в голубую гладь океана. Купание на виду у акул! Ты ловил восходящие потоки на

планере, и видел землю с высоты, и понимал счастливых птиц, летящих над землёй. Ты был без парашюта, им тоже не требовался парашют. Почувствовать под собой бездну — вот что ты хотел. Побороть страх, заложенный в генах годами скитаний, погромов и гонений.

Но разве эти испытания серьёзные? Родись на десять лет раньше, и ты получил бы такой набор смертельных трюков, что вряд ли бы выжил. Сумел бы ты подняться из окопа под шквальным огнём, сумел бы броситься на амбразуру или направить свой горящий самолёт на таран? Никаких гарантий дать не могу. Я был слишком мал, когда фашизм приговорил меня к смерти. Охваченный пламенем эшелон врывается в мои сны. Рвы, наполненные телами детей, — это уже не из моих видений. Палачи любили снимать на плёнку мучения своих жертв. Все эти страхи я ощутил потом, я не понимал всей надвинувшейся на меня и нашу семью катастрофы.

В далёкой Чердыни, на Урале, я радовался выпавшему снегу и скользил по льду реки на санках, сделанных из металлического прута. Мы спаслись здесь от неминуемой смерти. Мы бежали из своего города летом. Нас не пугал мороз. Поначалу нас закалила жара. Было душно и жарко в теплушке, куда набилось чело­век двадцать. Ещё большую жару создавал горящий вагон. Самолёты с чёрными крестами делали небо опасным. Воды не было.

Нечем было погасить огонь, пожирающий вагонные стенки. На стоянках мы устремлялись за водой. В памяти моей — длинные очереди у водоколонок. Никому не известно, когда тронется поезд. Все оглядываются на стоящий под парами паровоз. Он пыхтит и издаёт свист. Он наш спаситель. Пусть бомба попадёт в любой вагон, но только не в паровоз. И пусть пойдёт снег. С тех пор я не люблю жары.

Мои предки слишком долго жили в России, из генов выветрился зной пустыни. А может быть, в крови — предчувствие невыносимого жара крематория и охваченных огнём запертых синагог. Никто не расскажет о том, как сгорают заживо, как задыхаются в дыму. Ещё страшнее гореть в танке, с задраенными люками, словно в скороварке. И если удастся открыть люк и вывалиться наружу огненным факелом, то спасти может только снег. Валяться по нему, стиснув зубы и не позволяя крику вырываться наружу. Снег как спаситель. Зима почти ассоциируется с Победой. В память впечатаны цветные картинки: Наполеон со своей гвардией удирает из России, сани с дрожащими от холода французами. Они закутаны в женские шали. И строчки Пушкина, в детстве ещё не совсем понятные, да и сейчас отвергаемые: «... кто тут нам помог? Отвержение народа, Барклай, зима иль русский бог?»

Бог — он ведь тоже похож на Деда Мороза. В тулупе, за спиной

котомка с подарками. В моём детстве мы не мечтали о том, чтобы он принёс в виде подарков игрушки, даже конфеты не были нам нужны, нам очень хотелось, чтобы он принёс хлеб или сухарики.

На далёком Урале, в городе, лишённом картинных галерей и музеев, в морозное утро окна являли самые причудливые и манящие узоры. Серебряная паутина располагалась по какому-то неведомому закону, никогда не повторяясь. Мы вглядывались зачарованно в белые стёкла и дыханием своим старались пробиться сквозь белизну, отгаивали прозрачные кружки. Они тоже становились частью картины, эти маленькие окна в зимний мир заснеженных улиц, занесённых сугробами. В первую очередь надо было расчистить проход к крыльцу. Широкие деревянные лопаты не слушались детских рук. Но мы старались. У меня даже некоторое время хранился мой детский рисунок — маленькие кургузые человечки с большими лопатами, в лохматых ушанках.

Я так любил рисовать. Но не было бумаги, не было карандашей, не было красок. Тех человечков я нарисовал в доме моего товарища, он был сыном местного начальника. Остальные рисунки времён эвакуации не сохранились, потому что я рисовал угольками. И не на бумаге, а на фанере и дровах. Так что моё творчество оперативно предавалось огню.

И всё-таки среди моих бумаг сохранились ещё два рисунка.

Один я сотворил в первом классе: чёрные самолёты с крестами пикировали на бегущих людей. В этой толпе были и мы с мамой и сестрой. Рисунок, рождённый памятью о том, как мы выбегали из горящих вагонов и нас старались убить. Этот рисунок мама послала в газету «Пионерская правда» и заставила меня сделать ещё один. Вот он-то и сохранился. Из газеты ответили, что мой рисунок заслуживает внимания, правда, написали, что будет лучше, если я не стану выдумывать то, чего не видел, а стану рисовать школьников и про то, как мы играем. Уж какие тут выдумки, если в голове у меня до сих пор повторяются крики раненых и разрывы бомб! Я не потому бросил рисовать, что меня остановил этот ответ, просто краски было трудно достать, и они были слишком дороги. Написание стихов не требовало таких затрат, в ход шли старые газеты или исписанные уроками тетради. Другой рисунок сотворён позже. Много лет спустя, в дальнем рейсе в море, поражённый красотой океанских закатов, я осмелился взять в руки кисти и краски. И того и другого было в изобилии, так что и море, и небо у меня получились ярко-красные, зато парусник выделялся своим белым цветом — это была незакрашенная часть листа. Может быть, тогда я осознал, как важно оставлять пробелы.

В том рейсе мы остались без запасов воды. Вокруг, насколько видел глаз, простирался водный

простор, а мы страдали от жажды. У нас вышел из строя опреснитель. И тогда наш изобретательный рефмеханик увлёк меня идеей создания опреснителя морской воды. Он предложил очень простой принцип: морскую воду мы замораживали в судовой морозилке, а потом оттаивали и, пользуясь тем, что пресная часть воды тает быстрее, отделяли её от солёной. Так холод и лёд пришли нам на выручку. Тем более что дело было в тропиках, и холодная опреснённая вода стала самым вкусным нашим напитком.

Примерно такое же удовольствие от стакана воды я получал в детстве, когда почти повсюду появились продавцы газированной воды, и мы, выпросив у родителей три копейки, с наслаждением пили сладкую шипучую воду. Тогда ведь мы почти не знали вкуса конфет и сладких пирожных. Стыдно признаться, но я мечтал стать продавцом газированной воды.

Мы с рефмехаником, конечно, могли бы продавать свою холодную воду и обогатиться, но в рейсе такая мысль ни разу не мелькнула. Это сейчас из всего пытаются сделать бизнес, а в тот момент никто не думал о своей личной выгоде. Все мы зависели от вылова рыбы, от движения её косяков. И ещё зависели от захода в иностранный порт, он был нужен не для развлечения, а для того, чтобы получить валюту. Валюта была не настоящая — выдавали боны. Но за эти боны можно было купить заграничные шмотки

у нас в городе, в особом магазине «Альбатрос». Как в этих тропических рейсах мы мечтали о снеге и холоде, мы отдали бы все свои боны за один зимний день. А где-нибудь на Чукотке, не исключено, готовы были отдать с десяток соболей за один день в наших тропиках. Но обмен временными поясами ещё не налажен и даже не открыт.

В жаркие тропические дни рубашки истлевали от пота. Мы завидовали тем, кто ушёл ловить путассу к Ирландии или окуняя на Джорджес-банку. Это были в основном мурманчане. Мой друг, механик из Мурманска, напротив, считал, что нам повезло и работа в тропиках сродни отдыху на южных курортах.

Я не верил ему, пока в один из рейсов нас не загнали на самый Север, севернее некуда — там, вдаль, мы видели сплошные белые поля. В штгилевом море ещё можно было тралить, но едва начиналось волнение, волны достигали палубы, и вода почти на лету превращалась в лёд. Лёд заковывал судно в белую броню: мачта, тросы, надстройки — всё было белым, палуба превращалась в каток. Зрелище это не вызывало у нас радости. Объявлялся общий аврал. Мы вооружались ломami, пешнями, скребками, кто чем мог, и долбили, окальвали лёд и сбрасывали его за борт. От того, как скоро мы могли это сделать, зависела наша жизнь. Лёд нарастал на верхней палубе, корабль терял остойчивость и мог опрокинуться вверх килем.

При таком исходе нет надежд на спасательные шлюпки и плотники, нет надежды и на спасательные пояса. В холодной воде человек способен выдержать не более десяти минут. Нам повезло, мы справились со льдом. Один мой соплаватель, седой как лунь, рассказывал, что обледенение застало их в послепраздничный день, народ с похмелья еле двигался. Люди не сумели выйти на окальвание льда, валялись в каютах. И судно сделало оверкиль. Всего пару минут оно было в перевёрнутом состоянии. Очередная волна вздыбила его и поставила на киль. Но за эти пару минут мой соплаватель поседел.

Морские походы — это не только романтика и алые паруса, это и определённая степень риска. Это и вероятность последнего гибельного часа. Этот час подстерегает везде, бывают крушения поездов, падают самолёты, не оставляя никакого шанса всем, кто ещё несколько минут назад наслаждался полётом и смотрел на облака. Корабли гибнут не сразу и не всегда всех увлекают за собой в морскую пучину. Случаи резкого оверкиля редки. Есть таблицы непотопляемости, надо спрямлять крен и дифферент. Корабль должен тонуть, не опрокидываясь, погружаться на ровном киле. Не всегда это выполнимо. Шлюпки тоже не всегда успевают спустить из-за крена. Вся надежда на надувные плотники, но они не все всплывают, а те, которые всплывут, не могут вместить всех

успевших броситься в воду с борта тонущего корабля. Надо успеть забраться на плотик, пока холод не сковал тебя.

В проливах затонул большой траулер. Я тогда был в комиссии, искавшей причины этой трагедии. Всё было засекречено. Так полагалось в те годы. Все были нацелены на то, чтобы найти технические недостатки. Тот несчастный корабль только несколько дней назад вышел из родного порта, все понимали — водка кончается после прохождения проливов. Да, не сумели спрямить траулер, и потому оборвались шлюпки. Да, самоустранился капитан, чудом выжившие говорили, что он со словами «всё бывает» ушёл к себе в каюту и заперся там. Мы тогда не знали, что на корабле были секретные грузы и что капитан не имел права давать сигнал SOS. Мы знали одно: не дело судить мёртвых. Их жёны должны были без всяких препятствий получить пособие.

В очередном рейсе я встретился с рефмехаником, который участвовал в спасении тонущих людей, вернее, в вылове их замёрзших тел. Была весна, и вода за бортом была не выше пяти градусов. Тела загружали в просторную корабельную морозилку. У многих, сказал рефмеханик, были перебиты пальцы. Я не сразу понял, что это значило. И когда осознал, накричал на своего товарища. Даже если и так, он не должен был говорить об этом. На него накричал,

а сейчас понимаю: надо смотреть правде в глаза и никого не винить. Два всплывших плотика не могли всех вместить, те, кто успел влезть на них, били по рукам тех, кто пытался спастись. А если бы не били? Плот, перегруженный, всех увлѣк бы в пучину. И всё же это не укладывается в голове. Сам погибай, но товарища выручай, — так меня учили. Сейчас уже другое, лагерное, правило пришло в нашу жизнь: умри ты первым, а я последним.

Стихия есть стихия. Никакие страшные рассказы и случаи не смогли меня отвратить от моря, я остался предан ему, и я всегда получаю заряд энергии от этого постоянно меняющего цвет и неутомонного пространства, вздымающего из своих глубин водяные валы. Купелью и могилой одновременно назвал море поэт, погибший в сорок втором, а другой поэт сочинил такие строчки: «Не всё ли равно, — сказал он, — где? Ещё спокойней лежать в воде». Он стал обеспеченным и признанным и был предан земле с большими почестями. Возможно, и хотел бы покоиться в море, но разве допустили бы такой пассаж власти. Он ведь стал их придворным поэтом. Мой друг, литовский поэт, умер в самом расцвете. Он успел завещать, чтобы прах его развеяли над морем. Жене его пришлось преодолеть много чиновничьих барьеров, чтобы исполнить это завещание. Не всё ли равно — где? И всё-таки. Завидую самой великой женщине, встречи с которой подарила мне судьба.

Её неумелые стихи рождались из жизни, полной подвигов и страданий. Она ушла на фронт добровольцем, была совсем юной, врачевала, спасала бойцов, потеряла возлюбленного, почти всю родню потеряла — легли в безымянные балки и рвы, уготованные для евреев. Работала до девяноста лет. Была признана и награждена высшими титулами. Была небольшого роста, годы высушили её. Совсем лёгкая. Купалась круглый год. Мне казалось, что ей даже не надо грести руками, — вода и так держит её на плаву. И вдруг я узнал, что она утонула. И я понял: она не утонула, она сама специально вобрала в себя воду.

Есть море, в котором невозможно утонуть, даже если захлебнёшься его солёной водой. Его напрасно называют Мёртвым. Оно теперь излечивает от разных хворей. Люди, вымазанные грязью, добытой со дна моря, похожи на воинственных папуасов. Жаркое солнце делает грязь горячее. Люди ищут прохлады. Тень пальмовых деревьев не спасает. Духота, как в мукомолке на судне.

Стоит пробыть в этом рыбном крематории хотя бы один час, как весь пропитываешься запахом рыбной муки и аммиака. Я обычно снимал робу перед входом в каюту. Но пахла не только роба — всё тело не могло избавиться от едкого запаха. Я не обязан был лезть в мукомолку, но там постоянно что-нибудь ломалось, и машинист звал меня. Мы завидовали глазуровщикам, тем, кто покрывает замороженные брикеты глазурью.

Открытый зев морозилки, сама глазу ровочная машина — всё окутано холодным воздухом. Лёгкий парок, словно дыхание на морозе, хочется глотать, раскрыв рот. Но всё хорошо в меру, и когда на перегрузках объявляют аврал, и тебе достаётся место в трюме, через полчаса ты уже начнёшь мёрзнуть и вспоминать жар мукомолки.

А потом, возвращаясь с подвахты из морозного трюма, идёшь по накалённой солнцем палубе и поначалу радуешься. Но когда через подмётки ботинок проникает жара, убыстряешь шаг, чтобы скрыться от солнца в каюте.

Как же соединить жару и холод, как научить себя любить любую погоду?

Есть один верный способ — настоящая парилка. Даже в тропических рейсах мы ждали, как праздника, банных дней. На каждом корабле есть своя баня, её так старательно обустраивают, обряжают, словно невесту. И она отдаёт сторицей. Запах распаренных берёзовых веников возвращает ароматы берега. Вода из ковшика, соприкасаясь с раскалёнными камнями, рождает облако пара. Вытягиваешься на полке и перед хлёсткими ударами проводишь веником вдоль тела. Жар обдаёт тебя. Хорошо, если догадался натянуть на голову шерстяную

шапочку, а на руки надел перчатки. Чтоб мозг не закипел и руки не обгорели. Ты таешь, растворяешься, затем пулей выскакиваешь из парилки и ныряешь в самодельный бассейн, организованный в морозильном трюме, — и чувствуешь, что родился заново. На берегу никак не могу повторить это состояние. Вроде и сауна приличная есть у друга-капитана, и травы там у него всякие душистые, и пиво холодное, а вот морозильного трюма с бассейном нет.

Морские приключения давно не для меня. Остаются воспоминания. Чтобы о них писать, не нужны путешествия. Нужно просто выбрать подходящее место обитания. Совершенно ни к чему Таиланд или Эйлат. В жару невозможно творить. Мысли плавают, не находится нужных слов. Как пишут романы писатели в жарких странах, не представляю! Но и в холод вряд ли что разумное напишешь — дрожащие руки не смогут соединить буквы клавиш в слова. Всё хорошо в меру. И я никогда не променяю свою дождливую Балтику на жаркие тропики, а тем более на морозную сибирскую тайгу. И когда мои земляки жалуются на погоду, я не разделяю их сетований. Просто они не испытали, что такое жара и что такое холод. А если и испытали, то забыли.